

Почему?

Почему человек рисует?

Почему он сочиняет, и свои сочинения доверяет бумаге?

Возможно, в один прекрасный день он почувствовал себя художником.

Что это значит, почувствовать себя художником или ощутить в себе художника? Это означает то, что различные вещи, явления, к которым он привык и поэтому не замечал, открылись для него по-новому, и он стал пристально к ним присматриваться.

Это могут быть улицы города или посёлка, или деревни, где он живёт.

Это может быть его комната, которую как-то необычно высветлил лунный свет.

Это может быть неожиданное сочетание цветов в костюме его приятельницы или приятеля.

Это может быть закат, когда мандариновый солнечный шар пронизывает своим светом тёмные фиолетовые тучи.

Но ещё это может быть тревога, беспокойство, переживание, когда он хочет исправить то, что может, на что хватает сил, и страдает, когда сделать этого не получается.

Многое может быть, чтобы человек почувствовал себя художником.

Это необычное видение он хочет запомнить и поделиться своим впечатлением с другими. Тогда он берёт холст, кисти и краски или карандаш, или ручку и лист бумаги и начинает... Он рисует, он пишет, он рассказывает.

Но это ещё не всё, потому что рисуют, пишут, рассказывают миллионы.

*И здесь наступает самое главное. Как нарисовать, как написать, как рассказать, чтобы не было похоже и не напоминало уже нарисованное, уже написанное, уже рассказанное? Он начинает понимать, как это мучительно и вместе с тем радостно **создавать свой мир, красочный и яркий.***

**Не прощайте,
воспоминания**

Старое кресло

*Моей маме и тётушкам
«...Печаль моя светла...»*

В тот вечер я был дома один. Лампа освещала толстое стекло на письменном столе. Под ним лежали фотографии родственников, друзей. Я смотрел на их лица и, возможно, поэтому не чувствовал одиночества. Фотографии — это отпечатки каких-то событий, срезы времени, и, рассматривая их, вспоминаешь то, что связано с ними, существенное или не очень. Единственными нарушителями этого рассматривания были телефонные звонки. Вначале телефон звонил, не переставая, и звонки были пронзительными, нервными. Можно было подумать, либо у звонивших что-то случилось, и они хотят обязательно со мной поделиться этой новостью, или у меня какой-то праздник, с которым, боясь опоздать, все хотят меня поздравить. Звонки, звонки, звонки... Конечно, они нужны, но часто ими подменяют встречи. Обычно телефонные разговоры заканчиваются словами: «Ну, до скорого», «До свидания», «Пока, до встречи». А свидания, встречи из-за повседневной круговерти всё откладываются и откладываются и в конце концов заменяются звонками.

Чтобы нарушить этот телефонный перезвон, я решил прогуляться к двоюродному брату. Редкие пятна электрического света в окнах домов предвещали наступление вечера. Шорох колёс машин всё реже нарушал тишину почти безлюдных улиц. Город затихал, освобождаясь от дневного шума.

Поднимаясь по лестнице, я услышал поворот ключа и, боясь, что брат уходит, взлетел на два последних марша и застал его открывающим дверь квартиры. Услышав за спиной мои шаги, он обернулся.

- Вот так сюрприз!
- Ну, здравствуй! Войти-то можно?
- Здравствуй, здравствуй! Входи, входи.

Сняв куртки в прихожей, мы прошли в комнату. Бросив портфель на диван, он сел в кресло, положив руки на подлокотники, и чуть-чуть прикрыл глаза.

— Ты не поверишь, но я первый раз присел за этот сумасшедший день.

Он сидел, откинувшись на высокую спинку, и вся его ослабленная, размякшая фигура как бы расплылась по креслу, повторяя изгибы спинки, подлокотников, ножек.

— Это кресло, дом на Дворцовой набережной, тётя Наташа... — он сказал это как-то задумчиво, улыбаясь, что-то вспоминая. Я посмотрел на его лицо. Сходство с лицом его мамы, моей тётушки, было поразительным. Не то чтобы совпадали рисунок губ, покатаая линия носа, овал лица. Нет, это было сходство не лиц, а образов.

— Почему ты вдруг вспомнил об этом?

— Об этом мне напомнило кресло.

— А когда это было?

— Что было?

— Когда вы жили на Дворцовой набережной?

— Там мы жили до войны. Квартира располагалась на третьем этаже. До революции она, видимо, принадлежала какому-то богатому человеку, возможно, приближённому ко двору чиновнику. Анфилада комнат с многочисленными нишами, ответвлениями, высокие лепные потолки, деревянные панели. В начале Гражданской войны хозяева уехали из России. Квартиру перекроили и, поселив новых жильцов, превратили в коммунальную. От анфилады ничего не осталось. Часть мебели: кресла, громадный стол, шкафы — за ненадобностью была выставлена в коридор. Но в одной из двух комнат, которые заняли мы и тётя Наташа с сыном, было это кресло. Я его очень любил. У него были пружины какой-то особенной мягкости, и подлокотники как раз подходили под мой рост. Я садился и смотрел на Неву, на проплывающие баржи, на тянущие их буксиры, на Петропавловскую крепость. Оно как-то успокаивало. И даже потом, когда мы оттуда уехали, бывая у тётки Наташи, я не уходил, не сидев в этом кресле.

— Как сейчас?

— Да. Кроме покоя, от него исходило какое-то тепло. Кресло... Ты знаешь, это же не стул, который своей жёсткостью определяет своё предназначение и быстроту действия — быстро

поест, быстро написать какую-нибудь записку. На него можно встать, чтобы взять с верхней полки книгу, или заменить перегоревшую лампочку, или достать что-нибудь с антресолей. Он не даёт расслабиться, забыться. Но кресло... Оно обволакивает не только ласковостью своих линий, подушками сиденья, спинки, подлокотников, оно создаёт особое мягкое пространство, располагающее к размышлению, неторопливому разговору, к спокойному обдумыванию и, может быть, переживанию прошедшего за день, за неделю, за месяц. А кресло, пережившее не только своего создателя, но и поколения многих владельцев, несёт аромат далёкого времени — ста, двухсот лет, и своей долгой жизнью соединяет прошедшее с настоящим, одновременно являясь символом старины и предметом сегодняшнего быта. Ведь ему более двухсот лет. И как хорошо оно сохранилось. Ты посмотри, какие линии. Дерево, в отличие от камня, живой материал, и все двести лет, начиная от рук мастера, сделавшего его, впитало тепло рук и хозяев, и гостей. Оно сохранилось. И я чувствую это тепло, связывающее времена.

— Это же целая поэма о кресле.

— А что ты хочешь? Оно стоит поэмы. Когда мы жили на Дворцовой, тётя Наташа рассказывала, что ей снился один и тот же сон, когда она состарится, то переедет отсюда, и будет жить в квартире или в комнате, окна которой будут выходить во двор, и она будет видеть не Неву, не Стрелку Васильевского острова, не Петропавловскую крепость, а стены дома напротив или противоположную стену своего дома в дворе-колодце.

— И что же?

— Через несколько лет в результате сложного обмена, где все что-то выигрывали, она переехала. Вначале она жила с семьёй сына. Потом сын уехал на север на заработки, и в эту квартиру он уже не вернулся. Последние лет десять она жила одна. У меня были ключи от квартиры, и я часто бывал у неё. Однажды у меня был большой перерыв между лекциями, и я зашёл к ней днём, где-то около двух. Она лежала на диване, накрытая пледом. И мне как-то стало жаль её, пожилую, одинокую. Я помню, в тот момент мне показалось, что она умирала. Но умирала не тогда, когда я пришёл, а долго и медленно, как умирает старое дерево, не зная, не думая об этом. Умирал её дух. Она открыла глаза, и я увидел, что она просыпается и возвращается в этот мир, воз-

вращается как бы из небытия. Казалось, что-то неведомое втаскивало её обратно в жизнь.

— Как она жила всё это время?

— Как жила? А как живут одинокие старики? В волнениях и беспокойствах. Но не о себе. Она уже жила не своей жизнью, а переживаниями и тревогами своих близких. И это отчасти спасало её от одиночества.

...Просыпалась она обычно поздно, около одиннадцати, не так, как встают старики — с первыми петухами, а потом ворочаются с боку на бок, пытаясь заснуть. Умывалась, причёсывалась, готовила завтрак, завтракала. И помыв посуду: чашку с блюдцем, нож, вилку, чайную ложечку, — садилась перед окном. Около двенадцати кормила голубей, которые, словно зная время своего завтрака, подлетали к окну.

Уже три года она не выходила на улицу, заточив себя в квартире. Двор-колодец. Четыре огромные стены с бесконечными сверху донизу прямоугольниками окон. Она смотрела на эти стены, на эти блёклые серые стёкла окон, иногда поблёскивающих, когда во двор заглянет заблудившийся или любопытный солнечный луч, и, вспомнив дом на набережной, горько усмехнувшись, говорила себе: «В ограничениях узнаётся мастер». По небу, покрывающему двор, словно крыша, пролетали птицы, и она как-то заметила, что верхние края стен образуют четырёхугольную раму картины. И кусок неба с пролетающими птицами, с облаками или отсветом заката напоминал картину какого-то пейзажиста. И на Дворцовой над Невой птицы тоже летали, но они растворялись в бесконечном пространстве воздуха, и их почти не было видно. Да, в ограничениях узнаётся мастер.

Она подошла к зеркалу, посмотрела на своё лицо, потом снова подошла к окну: «Где же я видела эти стены?». И вдруг... вспомнила... Много лет назад ей часто снился один и тот же сон: в старости она будет жить в таком доме. Этот сон неотступно преследовал её в течение нескольких месяцев.

«Что-то Анна давно не звонила. Как там у них дела. Ведь Алишка в этом году должна поступать в художе-

ственную школу». Шуриша и шлёпая домашними туфлями, она подошла к телефону и набрала номер. «Ту-у-у, ту-у-у, ту-у-у», — трубка гудела долго и протяжно. «Видимо, никого нет дома, или не слышат». Она подошла к окну. День был безветренный, солнечный. Клинья журавлей треугольниками, не пересекаясь, проплывали в яркой осенней голубизне неба, одновременно далёкого и близкого. Они летели не торопясь, медленно, плавно помахивая крыльями, иногда поворачивали головы, словно прощались.

«Вот и птицы улетают. Наступило **время** их переселения». Когда птицы исчезали, и ветер разгонял облака, на освободившемся серо-голубом холсте, обрамлённом краями крыши, она рисовала картины. Это были картины её детства, её молодости, картины несбывшихся мечтаний, надежд и желаний. На нескольких ветках высоко вытянутого дерева подрагивали оставшиеся листья. «Вот и дерево оголилось. Наступило **время** его зимнего сна».

Наступает **время**. Наступило **время**. Что это такое? Птицы весной возвратятся. Но это будет уже другое время. И на дереве появятся листья, много листьев. И это тоже будет другое время. **Время**. Что же это такое? Его не возьмёшь руками, не пощупаешь; и запаха у него нет, и как не прищуривай глаза, как ни всматривайся, его не увидишь.

Она отошла от окна к туалетному столику, на котором стояли зеркальце в старинной инкрустированной перламутром серебряной рамке, затейливой формы флакон духов, пудреница, китайская шкатулка с позолоченными выпуклыми силуэтами птиц на чёрном лаке крышки. В ней лежали заколки из слоновой кости, золотые серёжки с сапфирами и изумрудами, броши в виде инталий и камней, оправленных золотом и серебром. Что-то она покупала сама, что-то дарил муж, но многое было из родительского дома — принадлежало её матери и досталось ей по наследству. А до мамы принадлежало бабушке и прабабушке. Когда-то у неё было много красивых вещей, а сейчас осталось кресло и эти дорогие красивые безделушки. Красивые... **Красота...** Может быть, она является целью, символом жизни? Поиск красоты, её постижение,

*когда можно забыть обо всём, разве не может быть целью жизни? Ведь только вера в красоту спасает, отвлекает от невзгод, неурядиц, печалей, помогает жить, даёт надежду, успокаивает. Все эти безделушки, и кресло в том числе, совсем не изменились, разве что потемнели от времени. От **времени**. Они свидетели времени. **Времени** идущего, текущего, бегущего.*

*Здесь же рядом лежали расчёски, ножницы, подушечки с иголками, напёрсток, таблетки, стояли бутылочки с лекарствами. Над столиком на стене булавами и иголками были прикреплены фотографии её родных, друзей, близких; на некоторых из этих снимков была и она в разные годы жизни. Фотографии недавние и пожелтевшие, которым сорок, пятьдесят и даже шестьдесят лет. Она посмотрела на них. Вот здесь видно время. «Но ведь это было совсем недавно, каких-нибудь... А может быть, это и не время, а расстояние, им пройденное, или которое она прошла, прожила в течение времени. Значит, оно существует. Пожелтевшие от **времени**. От **времени**! Вот здесь оно осязательно, имеет какую-то величину, какой-то размер.*

В начале декабря я, как обычно, пришёл к ней. Не услышав на мой звонок шарканья домашних тапок, позвонил ещё раз. «Наверное, спит», — подумал я и открыл дверь своим ключом. Войдя в комнату, я увидел её. Она не сидела, а полулежала в кресле, левым боком, левой рукой, всем своим телом прижавшись к подлокотнику. Голова была опущена, подбородок вдавился в грудь, правая рука повисла. Под креслом в ещё не успевшей высохнуть лужице лежала бутылка, из которой она обычно поливала цветы. И если бы не эта бутылка, можно было бы подумать, что она заснула. В нише буфета в светло-коричневой с тёмным орнаментом вазе цвела азалия.

Она цвела, когда началась зима, и лежал выпавший и ещё не успевший растаять первый снег.

Она цвела, развесив роскошную зелень веток с большими ярко-красными цветами.

Она цвела, наполненная жизненными соками и здоровьем.

Я перенёс тётушку на кровать и прикрыл пледом. Её лицо было чуть бледнее обычного и, несмотря на сухие потемневшие губы, казалось живым.

Вызвав неотложную помощь, я сел в кресло. Оно было ещё тёплым и, словно подлаживаясь под мою фигуру, словно оберегая, прильнуло ко мне. Я прижался к подлокотникам. И это были уже не подлокотники, а руки тёти Наташи, её руки. Она обняла меня, и мне стало тепло и уютно.

В квартиру позвонили. Я выпрямил руки, поглаживая подлокотники, вновь согнул и, поднявшись, пошёл открывать дверь.

После смерти тёти Наташи я взял это кресло. Она так хотела. Вот и всё...

Раздавшийся телефонный звонок напомнил нам о нашем **времени**, в которое необходимо было вернуться. Брат взял трубку и, послушав, сказал: «Да, хорошо. Я обязательно приду».

Три портрета

*Посвящается Ладю Гудиашвили**

Из переулка, где расположен дом Ираклия, мы вышли на улицу Леселидзе, длинной проворной ящерицей бегущую от Куры к Ереванской площади, и начали подниматься по склону Мтацминды на её вершину.

Поздно приходит в Тбилиси осень. Поздно и как-то незаметно. Вечер был ещё летним, а утром холодный ветер наполнил город запахом прелых листьев, и солнце, будто остывая, зависло в густом серо-дымчатом мареве неба. Осенью в Тбилиси листья не падают золотым дождём, покрывающим улицы шуршащей кольчугой, а лениво витают в воздушных потоках и, свернувшись серо-коричневыми трубочками, катятся по дороге, попадая под колёса трамваев и машин, под ноги прохожих и метлу дворника, или в сточную канаву. Осень в Тбилиси проявляется в красках и обнажениях. Вот обнажилась стена, покрытая сеткой оголённых веток плюща, вот обнажилась виноградная лоза, вот местами обнажился газон. Обнажения выявили линии города, то прямые и упругие, то мягкие, сетчато-паутинные.

Мы поднимались вверх по этой паутине ломаных улиц с этажерками деревянных покосившихся домов, словно древесные грибы прилипших друг к другу, с открытыми разноцветными балконами и верандами, с прогнившими лестницами. Подъём становился всё круче, покрытые булыжником улицы всё уже. По обеим сторонам улиц стоят отжившие и поэтому одинаковые в любое время года деревья без единого листочка, с изогнутыми стволами и закрученными рогами ветвей. Через узенькие улочки, которые, переплетаясь, как корни деревьев, стекают с горы, переброшены низкие каменные арки — под ними не пройдёшь, не согнувшись.

* Гудиашвили Ладю (Владимир Давидович) (1896–1980), грузинский живописец и график, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда.

Душный влажный вечер опустился на город. На бездонном иссиня-чёрном куполе неба готовы были появиться первые звёзды. Падающий из окон тусклый свет мягкими размытыми пятнами ложится на мостовую. Слышен скрип петель закрывающихся дверей трактиров и духанов. Вдруг неожиданно из одного дверного проёма в потоке света выплыл ангел. Голова его покачивалась в отблесках света, словно голова Саваофа, купающегося в пуховых облаках.

Лохмотья покрывали его тело. Пошатываясь, он прошёл несколько шагов, прислонил картон к стене духана и, вынув из кармана штанов кисти, быстро стал наносить мазки на картон. Уже вечер переходил в ночь, а он всё писал и писал. Он брал краски из воздуха, из темноты ночи, от лунного блеска булыжной мостовой, и лицо его светилось любовью.

Лёгкими, едва заметными мазками он посадил за стол тёмно-волосую кареглазую красавицу в ярко-красном платье с глубоко вырезанным лифом. Изогнутую коричневую спинку стула, на котором она сидела, он вплёл в змеящиеся ветки большого, вырастающего из зелёного ковра коричневого дерева. На траве с поднятыми канцами*, наполненными искристым золотым вином, сидели и полулежали кинто**, карачохели***. На расстеленной скатерти валялись опорожнённые бурдюки, каурма****, чурчхела*****. Короткими ударами кисти он разбросал вокруг стола много цветов: дымчато-коричневых, коричнево-жёлтых, белых, фиолетовых. Здесь же рядом и чуть поодаль на поляне он нарисовал участвующих в этом веселье жёлтого льва, коричневого оленя, белую медведицу с медвежатами. Он рисовал мир, сотканный из грёз.

Мы смотрели на художника, на его картон, и я невольно воскликнул:

— Так это Пиросмани!

— Да... Пиросмани... Вы знаете, я вспоминаю его очень часто.

* Канцы — рог для вина.

** Кинто — мелкий бродячий торговец, разносчик, балагур, остряк.

*** Карачохели — горожане, ремесленники в старом Тбилиси, внешне отличающиеся одеждой — чёрной чохой.

**** Каурма — грузинское национальное блюдо из баранины.

***** Чурчхела — сладости, приготовленные из очищенных орехов, изюма и густого виноградного сока.

— Вы были знакомы?

— Да. И не только знакомы. Мы встречались много раз. Я смотрю на этого художника, и передо мной стоит Нико. Я как сейчас вижу его. Худощавый, высокий. В сером помятом пиджаке, в брюках, разрисованных красками. Короткая борода обрамляет немного удлинённое лицо, и по обе стороны красивого, с маленькой горбинкой носа свисают усы, словно две грозди чёрного винограда Изабелла. Всё повторяется. И кажется, что время ходит по кругу, а сам ты находишься в центре этого круга, ибо то, что было вчера или много лет назад, так же близко, как и события дня сегодняшнего. Наверное, это происходит потому, что чувства и переживания не стареют, они живут во мне, как и все мои прежние возрасты. И то, что было десять, двадцать, пятьдесят лет назад, для меня так же ощутимо, как и то, что случилось вчера. Да, время ходит по кругу.

Звёзды ослепительно светили, когда мы начали спускаться. На углу двух переулков, расходившихся как два рукава одной реки, стояло небольшое круглое здание с вывеской «Кафе». Внутри ярко горел свет; он рвался наружу и освещал прилегающие к кафе дома. Вдруг Иракий как-то резко остановился.

— Батоно, что-нибудь случилось? Вы так внезапно остановились.

— Дорогой! Я посмотрел на небо и поэтому остановился.

— На небо?

— Да, на небо.

— Ну и что?

— Я смотрю на небо и вспоминаю тот вечер. Вы же знаете, что бывают какие-то моментальные, мгновенные впечатления, состоящие из мелких штрихов, нюансов — назовите, как хотите, которые надолго запоминаются. Вот и сейчас. Посмотрите. Это как озарение. И рисунок, и цвет этих тёмных облаков, освещённых светом звёзд, почти точно повторяют контуры, очертания, окраску тех облаков, облаков того безмятежного, счастливого времени. Напоминают о том кафе, где всё это и произошло.

— Что произошло?

— Да история с портретом девушки, который мой друг хотел вручить ей вместо платы за обед.

— Тот портрет за занавесочкой, которой висит у Вас в мастерской?

— За занавесочкой, — Ираклий улыбнулся. — Это случилось в Париже. Уже более полувека прошло с тех пор. Как-то с одним приятелем, тоже художником, мы зашли в «Ротонду» перекусить. В то время в этом кафе всегда бывали молодые поэты, артисты. С кем я там только не встречался! Большинству из нас часто нечем было заплатить за обед, и вместо платы мы, художники, оставляли хозяину свои наброски, этюды, иногда небольшие акварели. Но у меня тогда как раз были деньги — удалось продать две вещи, — и я сказал приятелю, чтобы он не беспокоился. Уж не помню, что мы заказали. И пока мы ждали, он вынул свой альбом и начал что-то набрасывать карандашом. Спустя несколько минут он показал мне рисунок. Из альбома на меня смотрела девушка, принявшая наш заказ. Когда мы перекусили, я хотел расплатиться.

— Обожди, Ираклий. Я подарю ей портрет, и таким образом мы рассчитаемся.

— Да брось ты, — только и успел я сказать, как девица появилась перед нашим столиком, превратившись в ожидавшее денег изваяние.

— Мадемуазель! Это Ваш портрет. Сейчас он стоит пять таких обедов, а лет через десять ему цены не будет. Надеюсь, мы в расчёте?

— Знаю вас, художников. Вы все считаете себя непризнанными гениями. Портрет мне не нужен, гоните-ка франки, — ответила она и ехидно улыбнулась. — Да это и не я. Непохоже.

Я расплатился. Приятель вырвал лист из альбома.

— Ираклий, возьми этот рисунок. Ты хоть его сохранишь. Она, дура, ничего не понимает.

И словно вновь переживая это событие более чем пятидесятилетней давности, он как-то мечтательно и в то же время грустно улыбнулся и, опустив голову, замолчал. Потом вдруг неожиданно рассмеялся.

— Вот какой курьёз произошёл в тот далёкий вечер. А в том, что мы считали себя гениями, она была права.

— Батоно Ираклий, а кафе «Ротонда» сохранилось?

— Кафе-то сохранилось, куда ему деться.

— Но прошло столько времени.

— Я очень давно не был в Париже. Но друзья говорили, что кафе работает.

— А хозяин?

— Того хозяина, конечно, уже нет. Он продал «Ротонду», когда я ещё был там. О чём мы все очень жалели. Он любил нас, молодых поэтов, художников. Но наше искусство оставалось для него чем-то загадочным, непонятным. И, несмотря на это, мы его очень любили. Продав «Ротонду», он часто приходил туда, садился за столик в углу и подолгу сидел с печальным лицом. Когда я видел его таким, а мы ещё долгое время там собирались, перед глазами всплывал сезанновский «Курильщик» с таким же отрешённым лицом, над чем-то задумавшийся, ушедший в себя. Голова покоится на сжатой ладони согнутой руки. Такое не забывается...

Тогда в Париже я написал, нет, сделал карандашом автопортрет. Сейчас я понимаю, это была ученическая работа. Не в смысле техники, рисунок у меня был хороший. Но в портрете было только внешнее сходство и не более. Это был я, и в то же время меня там не было. Ну, как Вам объяснить. Там не было того, что должно быть за портретом, за листом бумаги, за холстом. Ведь море — это не только гладкая поверхность воды или волны, которые мы видим. Море — это глубина, это целый мир в этой глубине. А её-то, этой глубины, в том портрете не было. Как-то, это тоже было давно, проходя в мастерской мимо зеркала, увидел своё отражение. «Неужели это моё лицо? Неужели это я?» — не то чтобы я удивился. Нет. Припоминая, побрился ли утром, я ещё раз задержал взгляд на зеркале: «Это не я! Ну, тогда кто же?» И я посмотрел на свой автопортрет тридцатилетней давности, тот, который я написал в Париже. Меня не покидало ощущение одновременного отчуждения и соприкосновения двух миров, двух времён, и захотелось написать ещё один автопортрет. Несмотря на то, что я над ним много работал, он у меня долго не получался. И хотя с тех пор прошло много времени, я до сих пор не уверен, удалось ли мне выразить то, что я хотел. Была какая-то борьба. Я хотел писать одно, но кисть писала по-другому, по-своему. И в конце концов получилось так, как хотела она, а не как задумал я. Помню, когда посмотрел на портрет, на память пришли слова молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Помните? «...Но не чего Я хочу, а чего Ты». Может быть, Бог водил моей рукой?

Мы вошли в кафе. Нас встретила пожилая женщина, на вид лет шестидесяти пяти. Но прямая чёрная юбка, серая крепдеши-

новая кофточка с широкими отделанными кружевом рукавами и белая накидка на плечах, скреплённая бантом на груди, делали её моложе. Сразу трудно было разобрать, кто она — хозяйка или официантка. Поверх юбки и кофточки был надет зелёный фартук, тоже отделанный кружевами, и поэтому было очевидно, что если она и хозяйка кафе, то в это время сама обслуживает гостей.

— Заходите, молодые люди, заходите.

— Спасибо! Молодой-то из нас только он, — улыбнувшись, Ираклий посмотрел на меня.

— Для меня все мужчины молодые.

— А для нас — все женщины без возраста.

— Вот и обменялись любезностями.

Все столики в кафе располагались у окон, и в середине было так много свободного места, что можно было устраивать танцы. Когда мы заняли столик поближе к дверям, Ираклий сказал:

— Помните, я Вам рассказывал о хозяине «Ротонды», о том времени, когда он её продал и приходил туда, и подолгу сидел?

— Да, конечно.

— Так вот, в «Ротонде» столики стояли так же, как и здесь.

А мы обычно собирались, сдвигая их, в том дальнем углу.

Хозяйка подошла к нам.

— Что, глядя на ночь, будете заказывать, молодые люди?

— Сначала кофе, чтобы не заснуть.

— О чём Вы говорите! — громко и весело сказал Ираклий. — Разве можно заснуть рядом с такой красавицей!

— Тоже мне сказал: красавица. Вот сорок, пятьдесят лет назад... Но то время ушло. Что же будем заказывать? — и она склонилась к столику. Голова её опустилась так низко, что мы почувствовали запах её волос. Одна прядь, или не послушавшаяся гребешка, или специально кокетливо выпущенная из глади причёски, кольцом закручивалась вверх. Ираклий посмотрел на неё очень внимательно. И по его взгляду было видно, что он роется в памяти, пытаясь что-то вспомнить.

— Что будем заказывать? — как-то отрешённо Ираклий повторил её вопрос. — Пожалуйста, принесите кофе, сосиски и рогалики.

Когда она отошла от столика, Ираклий вынул из кармана куртки альбом и стал быстро что-то рисовать.

— Что вы рисуете, батано? — поинтересовался я.

— Обожди, дорогой. Потом...

После того как был нанесён последний штрих, он показал мне рисунок. Это был портрет хозяйки кафе в молодости и почти копия прикрытого занавесочкой портрета, нарисованного когда-то в «Ротонде» его товарищем.

Когда хозяйка принесла наш заказ и, поставив его на стол, пожелала приятного аппетита, Ираклий сказал ей:

— А это Вам, — и вырвал из альбома лист с рисунком.

— Что это? — она взяла в руки лист. — Ой! Это же я! Это же мой портрет! Откуда он у Вас?

— Как откуда? Я его сейчас нарисовал.

— Не может быть! Я была такой пятьдесят лет назад. Это было в Париже. Я тогда работала официанткой в «Ротонде». Меня рисовал один художник. Ваш рисунок очень похож на тот.

— Я знаю. И очень хорошо помню тот день.

— Как так «хорошо помню»? Что это значит?

— Тогда в кафе мы пришли вдвоём.

— Так с ним были Вы?

— Да.

— О боже! Этого не может быть!

— Почему же? — спросил, улыбнувшись, Ираклий. И расплатившись, мы вышли в ночной город, в ночной... Париж, Париж Ираклия.

Над нами тёмным полотном расстилалось небо, украшенное блёстками звёзд. Мы спустились на площадь Пигаль и, свернув налево, пошли по улице Курсель. Пройдя по ней метров двести, повернули на бульвар Риволи, а оттуда на бульвар Мадлен и через новый мост вышли на проспект... Руставели, встретивший нас тишиной, изредка нарушаемой шорохом проезжающих машин. Город уснул. Ереванскую площадь в конце проспекта мы обогнули с другой стороны и по той же улице Леселидзе подошли к дому Ираклия.

— Спасибо за чудесную прогулку, батано Ираклий. Пойду, а то в гостиницу не поустят.

— Конечно, не поустят. Все двери уже закрыты, и торопиться Вам некуда. Посидим у нас. А там, глядишь, и утро наступит. Тогда и пойдёте в свою гостиницу.

— Ну что Вы! Как-то неудобно. Да и ваших невзначай разбудим.

— А чего тут неудобного? Никого мы не разбудим. Тамрико спит крепко, а Гурам уехал в командировку.

— Ну, спасибо. Уговорили.

— Вот и хорошо.

Поднявшись на второй этаж, мы вошли в мастерскую. Но это была не мастерская художника, где сплошь и рядом лежат, стоят прислонённые к стене подрамники с натянутыми холстами, где на всех стульях, столиках, полках лежат эскизы начатых или законченных работ, где тут и там лежат книги, альбомы, кисти, тюбики с красками, стоят бутылки с растворителями, где царит художественный беспорядок, в котором разбирается только хозяин мастерской. Всего этого не было. А был большой зал. Большой зал картинной галереи, нет, скорее музея. Высокие потолки, большие окна, через которые не лился, а врывался яркий лунный свет и стены, снизу доверху завешенные картинами. Снизу доверху. Разных размеров, в разных рамах, населённые разными сюжетами, разными сценами, разными действующими лицами. Посредине этого зала стоял длинный стол, за который можно было посадить, наверное, полсотни гостей. В углу стояли два старинных кресла. А между ними пристроился инкрустированный круглый столик.

— Присаживайтесь, — сказал Ираклий и придвинул ко мне кресло.

— Спасибо! Батано Ираклий, а где автопортреты, о которых вы говорили?

— Да вот они, — художник показал на одну из стен мастерской. — Смотрите, а я пойду на кухню, сварю кофе, а то, пожалуйста, точно заснём.

И столик, и кресло составляли уютный уголок, откуда была видна вся мастерская. Меня охватило двойственное чувство: с одной стороны — ощущение присутствия в этом огромном зале-мастерской, а с другой — отстранённость зрителя, сидящего в кресле театра и с интересом следящего за действием, происходящим на сцене, и знающего, что он не участвует в нём.

Пока Ираклий варил кофе, я рассматривал два портрета, о которых он мне рассказывал, когда мы гуляли по городу. Но был и третий. Он висел на той же стене, где висели и те два, но в отдалении от них. Написан он был, видимо, недавно. Пожилой мужчина в лёгкой домашней куртке сидит в одном из этих

кресел. Белый нимб седых волос, напоминающий парик, какие носили в восемнадцатом веке, лежащие на коленях сплетённые руки и спокойный взгляд, устремлённый куда-то далеко и одновременно наблюдающий за тем, что происходит вблизи. И этот взгляд поразил больше всего. Глаза, и в основном они (может быть, кроме выразительности черт) приковывают внимание художника, вызывают желание писать портрет именно этого человека, именно его лицо. Но в этом взгляде художника, смотрящего на меня из прямоугольника рамы, было что-то необычное. И во взгляде, и в глазах одновременно было три взгляда, три пары глаз, принадлежащих одному человеку в разные периоды его жизни. Взгляд неглубокий, немного поверхностный, игривый — взгляд молодости, когда знаешь, что вся жизнь ещё впереди. Взгляд зрелого мужчины, взгляд понимающий, оценивающий сделанное в жизни. И взгляд третий, спокойный, ничего не оценивающий, умиротворённый, взгляд мудрого человека. Возможно, в третьем автопортрете было немного печали по ушедшей молодости, по ушедшей красоте. Три автопортрета были расположены на одной высоте, и, несмотря на то, что между ними висели три небольшие картины, их можно было охватить одним взглядом.

Три автопортрета — три отпечатка разных времён и жизни в этих временах одного человека. Три отпечатка его душевных переживаний. И казалось, что эти отображения вышли из своих рам, чтобы собраться в одном времени.

...Уже начало светать, когда я вышел из дома Ираклия. Идти в гостиницу по проспекту Руставели не хотелось, и, спустившись к Куре, я пошёл по набережной. Город, лениво потягиваясь, просыпался. А река спешила. Её мутные волны то ворчливо бурлили, наскакивая на камни, то обнимали и облизывали их ласково и нежно. Город террасами поднимался по берегам и напоминал сложенные большие ладони, в которых протекала река. Как мчится, не останавливаясь на маленьких станциях, скорый поезд, так и она спешила, оставляя без внимания берега, задерживаясь только на поворотах, которые, как и в жизни, были вехами, соединявшими конец предыдущего и начало следующего этапа. Рисунок берегов менялся, одна вода сменяла другую, а река оставалась такой же, какой и была.

И три автопортрета Ираклия — эти три берега одной реки, воды которой омывают их в разное время. И в них соединились

многоликость жизни, многоликость времени. Они были сообщающимися сосудами, в которых мысли и ощущения двадцатилетнего, пятидесятилетнего и семидесятилетнего переливались из портрета в портрет, из возраста в возраст, то повторяясь и усиливаясь, то временно пропадая, чтобы потом окрашенными в другой цвет возникнуть вновь. Как музыкальная тема, зарождающаяся в начале концерта, видоизменяясь, проходит через все его части, где-то приукрашиваясь, где-то сбрасывая краски и обнажаясь.

...Река бурлила и пенилась, спотыкаясь о камни и играя всеми цветами утра, то успокаивалась, задерживаясь на поворотах, то...

Река... Река времени.

Фредерик Шопен. Скерцо № 2

Андрей бродил по этому удивительному городу, и мысли о том, правильно ли он поступил, взвалив на плечи добровольную эмиграцию, не выходили из головы. «До эмиграции... В эмиграции... Пора уже перестать об этом думать». И не так тяжела была ноша, но какое-то чувство неустроенности беспокоило его.

А город и в самом деле удивительный. Чем-то он напоминает ему Тбилиси, тоже необыкновенный разноголосый город, в который он влюбился с первого же приезда. Как и Тбилиси, Вупперталь расположился на склонах долины, сложенных под углом, словно ладони великана, между которыми протекает река. Но она имеет другое название.

Террасами, рядами домов, особняков, кирх спускается он по зелёным холмам, местами с обнажёнными скальными породами и, перейдя прозрачную реку, такими же ступенями поднимается по холмам противоположного склона. И тут, и там разноцветье фасадов; словно кусочки смальты они вставлены в мозаичное полотно города. Разные по рисунку, по форме, по очертаниям, чистые, яркие, словно свежескрашенные, похожие на пирожные, пряники, сдобные булочки, выпеченные кондитерами-художниками в разных пекарнях, двух-, трех-, редко многоэтажные дома прячутся в зелени кустов, среди елей, пихт, лиственниц, сосен.

Неожиданно Андрей вышел к знакомому перекрёстку. На чёрном блестящем основании чуть выше человеческого роста стоит чёрная пластина. Чуть выше, но не настолько, чтобы выделяться среди спешащих по своим делам людей. На пластине над белым воротником крупное лицо, окаймлённое широкой лентой чёрных волос. Большие глаза. Чёрные густые брови. Два цвета — чёрный и белый с редким вкраплением серого. И напряжённый внимательный взгляд. Андрею показалось, что пластина смотрит на него и хочет что-то сказать. Нет, она смотрит на себя и говорит с собой, потому что напротив стоит такая же пластина с таким же портретом.

Почти ежедневно Андрей проходит этот перекресток и встречается с ней. Возможно, в это время она случайно оказывается здесь. Возможно.

В городе редко идёт снег. Чаще всего он тает, не успев опуститься на мостовую. Но сегодня он падает крупными хлопьями, которые и снежинками трудно назвать. Кажется, кто-то сверху рвёт вату и бросает её на землю. Весь город в снегу. Её ноги припорошены снегом, и с лица не сходит улыбка. Ей нравится этот неожиданный снегопад. Когда же идёт дождь, ей становится грустно. А кому будет по душе, когда небо весь день затянуто плотным серым занавесом и нет на нём ни одного светлого пятнышка, которое бы вселяло надежду, что дождь скоро прекратится? Вся мокрая стоит она в ожидании просветления. И не видно конца её слезам. А если светит солнце, его блики скользят по её лицу. Кусочки смальты переливаются, взгляд искрится. Андрею нравится этот памятник немецкой поэтессе Эльзе Ласкер-Шюлер.

Две пластины стоят напротив друг друга. Два лица одного человека всматриваются друг в друга. А как иначе понять себя, если не всматриваться?

Андрей приехал в общину и, войдя в здание, услышал звуки фортепьяно. «Что за музыка в храме? — удивился он и сам же себе ответил: — На то он и храм, чтобы в нём звучала музыка.»

Андрей поднялся на второй этаж и на доске объявлений увидел скромный листок:

Фортепьянный вечер
Произведения Фредерика Шопена исполняет
Марина Гречук
Начало в 18 часов. Вход свободный.

Имя пианистки ему не было знакомо. Никаких эпитетов вроде «заслуженная», «народная», «лауреат».

«Значит, это репетиция. Надо бы пойти». Андрей посмотрел на часы. Стрелки показывали четверть пятого. До начала концерта он решил погулять.

Купив в цветочном магазине розу, Андрей пошёл на концерт. Пунцовая, на длинном стебле с крупными листьями, закрывающимися шипы, с большим раскрытым бутонem и нежными лепестками, она была божественно красива и, казалось, сама

знала о своей красоте. Уже давно он почти всегда дарил один цветок. Почему один? Это он понял, когда готовился к защите диссертации в Каунасе. Там часто дарили не букеты, а только один цветок. Может быть затем, чтобы выразить какое-нибудь одно чувство — дружбу, верность, надежду, нежность, радость, восторг, любовь...? И цветок выбирался созвучно этому чувству.

Андрей пришёл чуть раньше начала концерта. Большое пространство, большие окна и низкий потолок придавали залу камерность. Он думал, что пришёл одним из первых, но на стульях, расставленных полукругом, слушатели уже сидели.

Зал притих в ожидании. Дверь открылась, и из проёма вышла высокая стройная дама с красиво уложенными седыми волосами. Её костюм был строг — длинная черная юбка и чёрная с переливами кофточка. Ничего лишнего. Серебряная цепочка, гармонирующая с причёской, подчеркивала эту строгость.

— Здравствуйте! — улыбнувшись, сказала она, чуть наклонив голову. И в этом «здравствуйте» была мягкость, непринуждённость, будто она поздоровалась со своими знакомыми. «А может быть, так оно и есть», — подумал Андрей.

— Сегодня я буду играть Шопена. Сначала два ноктюрна, — она подошла к роялю, села, задумалась, правой рукой провела по волосам, как бы откидывая прядь, и стала играть.

После второго ноктюрна раздались аплодисменты. Пианистка поклонилась и легким движением правой руки поправила причёску.

Это движение, на которое, Андрей был уверен, никто не обратил внимания, почему-то встревожило его: «Неужели? Не может быть!» Путешествующая по времени память вдруг высветлила Андрею те далёкие годы.

Затем прозвучали два рондо и баллада. Андрей не был музыкантом, и ему вначале всегда было трудно разобраться, хорошо ли играет пианист, тем более, что прошло уже столько времени с тех пор, когда он последний раз был на фортепьянном вечере. Но слушая музыку, он пытался уловить главную тему, которую для себя называл образом, хотя понимал, что это не совсем точно. И в зависимости от того, как эта тема звучала, он и воспринимал игру. Всё остальное для него не имело значения, ибо остального он просто не слышал. А когда образ задевал его за живое, Андрей проникался им полностью.

В игре пианистки он услышал что-то очень ему знакомое. Это «что-то», возможно, не было написано композитором, оно шло от исполнителя. У певцов это «что-то» рождается от тембра или вибрации голоса, от интонации. Но здесь Андрей не знал, откуда оно появляется и как называется. Может быть, и здесь это интонация, воплощение в игре своего переживания, своего ощущения, которые присущи только этому исполнителю?

И во всем, что она играла, присутствовало это «что-то». Она вернула его в те давние времена, когда... Когда это было? Тридцать, а может больше лет назад? Да, теперь он не сомневался, это Марина. Так играть могла только она.

Концерт закончился. Аплодисменты. Цветы. Её окружили, благодарили, улыбались, что-то говорили. Андрей подошёл к роялю, положил розу и вышел.

Зал почти опустел. Она посмотрела на цветы, лежащие на уже опущенной крышке и заметила чуть поодаль розу матово-пунцового цвета с крупными тёмно-зелёными листьями на длинном стебле.

— Неужели? — подумала она и посмотрела вслед уходящей публики. — Андрей? Был здесь? — не только подумала, но и сказала вслух. Захотела побежать в гардероб, но на секунду задумалась и снова посмотрела на розу. — Один цветок... — она взяла его в руки и поднесла к лицу. — Один цветок... А прошло уже тридцать лет.

Зал опустел. Она села за рояль и стала играть Скерцо № 2. Его не было в программе концерта. И она редко исполняла его даже на бис. Это была её личная, потаенная музыка. Она стала такой в её жизни с того самого момента, с того концерта, после которого они расстались, думая ненадолго, а оказалось...

Она играла для себя... и для него.

Билет на поезд до станции...

Домой Валерий пришёл поздно, около десяти. Ужинать не хотелось. Он включил телевизор. На первом канале передавали прогноз погоды, а на местном транслировали запись концерта пианиста, приехавшего в Красноярск в прошлом месяце. В общем, ничего нового. Но как дым, висящий в комнате после ухода курильщиков, звуки рояля всплыли в памяти. И это звучание пронзило ещё не успевший затвердеть рыхлый пласт времени и заставило вспоминать:

«...Ты играла. Мне нравилась твоя игра, но никогда она не волновала меня так, как в тот вечер. Почему? — Не знаю. Может быть, я чувствовал, что он последний, что я больше никогда не приду в этот дом с роялем в большой гостиной, с картинами, со старинной мебелью из красного дерева. Каждый раз, приходя к тебе, я давал себе слово, что прихожу последний раз, и каждый раз, уходя, понимал, что не смогу его сдержать, и от этого меня не покидало чувство досады. Ты принадлежала к неведомому мне миру, и всё, что относилось к этому миру, вызывало у меня трепетное благоговение. Я был готов склониться перед тем, кто способен провести точную линию на листе бумаги, линию, которая потом сможет отделиться от этого листа и зажечь своей жизнью. У меня горели глаза, когда я смотрел на человека, который прикосновением к струнам или клавишам рождает мелодию. И, может быть поэтому, я старался быть рядом с тобой. Но я никогда не смог бы остаться в этом доме навсегда, как и ты никогда ни за что на свете не оставишь этот дом. Мягкий успокаивающий свет, множество книг, рояль, кресла, располагающие к спокойному, ни к чему не обязывающему разговору, — ты часть этого мягкого уюта. И я, чувствуя свою ущемлённость, уставал от этого состояния. Я снова прихожу к тебе и ухожу, обещая себе никогда больше сюда не возвращаться.

Второй вагон последнего трамвая. Кондуктор улыбается мне как старому знакомому. Трамвай пуст. У меня болит голова. Сегодня я такой же пустой, как трамвай. Я сижу, в полусне закрыв глаза. Трамвай приближается к моей остановке. Меня будит кондуктор, он знает, где мне выходить...»

Командировка подвернулась неожиданно. В Ленинграде нужно согласовать дальнейшие работы и утвердить их в Москве, иначе не будет финансирования. Ехать Валерий не мог, так как отвечал за монтаж оборудования, а сроки поджимали, да, по правде говоря, ехать ему и не хотелось. Без особого напряжения убедил руководство управления послать Митрича. «Он справится. Ведь всё согласовано. Пусть поветрится». Вечером Валерий зашёл к нему.

— Привет!

— Привет! Давно не виделись.

— Да уж. Четыре часа прошло. Митрич, дело есть.

— А обсудить днём не было времени?

— Время-то было. Просто ситуация определилась поздно. Я заглянул к вам, а там никого, даже рассыпанных шахмат не было. Обсудить можно и завтра. Но утром хотелось бы уже иметь решение.

— Раз надо, давай выкладывай. Вопрос-то в чём?

— Митрич, надо съездить в Ленинград и в столицу.

— Ну, ты даёшь! Я же через неделю ухожу в отпуск.

— Так это ж через неделю. Из столицы и поедешь. Материалы вышлешь или передашь с кем-нибудь и гуляй себе.

— А что делать-то в Москве?

— Сначала в Ленинграде согласовать документы на продолжение работ, а потом утвердить их в главке. Дня за три справишься.

— В Ленинграде только согласовать? Больше ничего?

— Ничего. Впрочем, может быть... Ну, если будет время... зайдёшь к Яне.

— К Яне?

— Да, к ней.

— Хорошо. Время найду. Когда выезжать?

— Завтра или послезавтра.

— Так завтра — четверг.

- Поезжай поездом. Отдохнёшь в пути.
— Лады. Со мной вопрос согласован. А с ними? — Митрич показал большим пальцем на потолок.
— Конечно. Иначе меня бы здесь не было.

* * *

До Ленинграда оставалось около часа. Вещи собраны. Да вещей-то всего одна сумка. Под стук колёс Митрич думал, что он ей скажет. «Поднимусь на третий этаж, а может быть, на пятый. Позвоню два раза. Зачем мне эта роль? Почему они сами не могут договориться? — Здравствуйте! Яна Викторовна дома? — Да. Это я. Здравствуйте! А кто Вы? — Я? Я — никто. Я от кого. — От кого же? — От Валерия. — Ой! От Валерки! Проходите, проходите».

«Поезд подходит к городу-герою Ленинград», — сообщил скрипучий голос радиосвязи. За окном трубы, остатки разорванного дыма, голые деревья и бурая выцветшая земля. И Митричу кажется, что он подъезжает не к Ленинграду, а едет дальше по осени на восток или на север, и поезд сейчас, пересекая широкую реку, прогремит колёсами по мосту или виадуку. Кругом поля, окаймлённые редкими, похожими на больших ежей кустарниками с тёмной широкой полоской неба. Но поезд, разрезав асфальт платформы, остановился в коридоре радостных лиц, автокаров, тележек с чемоданами, коробками, тюками. На перроне носильщики, сутолока, шум и бесстрастный голос: «С платформы номер пять, левая сторона, отправляется поезд номер шестьдесят один. Поезд следует до станции Котлас. Время отправления шестнадцать часов восемнадцать минут. Повторяю...»

...Трамваи, машины, холодный ветер, спешащие люди. «Зачем я иду к ней? Зачем я взял на себя эту роль?» — Митрич ехал по Восьмой линии Васильевского острова. Поворачивая направо, трамвай выезжал на набережную Невы и, изредка позванивая, ехал в сторону залива. В начале поворота Митрич заметил, что над Дворцовым мостом плывут мохнатые серо-чёрные тучи, из которых сыплется град вместе с дождём. А впереди по ходу трамвая в районе Горного института светило солнце, и небо было ясным, голубым.

Подъехав к дому, где жила Яна, Митрич поднялся на второй этаж. Звонка на дверях не было. Постучал — тишина. Постучал снова. Послышалась мягкая поступь, скрежет поворачиваемого ключа, звяканье цепочки, и дверь открылась. Пожилой мужчина с гладко зачёсанными с проседью волосами вопросительно посмотрел на Митрича:

— Вам кого?

— Здравствуйте! Я к Яне Викторовне. Она здесь живёт?

— Здесь. Проходите, проходите. Её пока нет дома, но должна скоро придти.

Они прошли в комнату: по стенам до потолка книги, коробки с пластинками, ноты; на низком столике мраморный бюст молодого человека, тяжелые тёмно-вишнёвые портьеры на дверных проёмах и окнах, открытый рояль.

Митрич посмотрел на часы, была уже половина шестого. Нужно было ещё устроиться на ночлег в гостинице, где никогда не бывает свободных мест, или искать родственников, которые жили где-то на окраине города, в новостройках, но где именно, он не знал. Послышался щелчок открываемого замка и голос: «Папа, это я». В ту же минуту вошла женщина лет двадцати семи. Но когда она подошла поближе, стали видны морщинки в уголках рта и у глаз. «Наверное, ей уже за тридцать или устала за день», — подумал Митрич. Она была смугла, тёмноволоса, карие глаза искрились.

— Здравствуйте! — она доверчиво протянула руку. — Чем могу быть полезна? Папа сказал, что Вы ко мне. Давно ждёте?

— Здравствуйте! — Митрич встал. — Я от Валерия.

— От Валерки? — Митричу показалось, что она подпрыгнула. — Как здорово, что он прислал живое письмо. Ну, не обижайтесь! Как Вас зовут? Вы даже не представились. И садитесь, что же Вы стоите. Пойдёмте в мою комнату, Вы же не гость, Вы от Валерки.

Они прошли в соседнюю комнату. Со стула спрыгнул большой сибирский кот и, прихрамывая, лениво подошёл к хозяйке и стал тереться об её ноги.

— Тигр! От Валерки письмо!

Кот равнодушно вильнул хвостом и поплёлся под кровать.

— Садитесь.

— Спасибо. Хорошее имя Яна. Януш... Ян.

— Валерий звал меня Яном. Да садитесь же, в ногах правды нет, — она придвинула стул. — Ну, как он там? Рассказывайте. Вы вместе работаете?

— Да. Зовут меня Дмитрием. Вы давно не виделись с Валерием?

— Что-нибудь около полутора лет. Нет, меньше. В январе, кажется, он приезжал. В мае получила от него открытку. — Она положила руки на скатерть и стала расправлять невидимые складки. — А вы, Дима, можно я буду Вас так называть, давно там?

— С мая прошлого года.

— А сейчас здесь каким образом?

— В командировке.

— Надолго?

— Может быть, ещё побуду дня два-три.

Кот выполз из-под кровати и мягко прыгнул Яне на колени, устроился поудобней и, зажмурившись, замурлыкал. Она машинально его погладила.

— Давайте, Дима, попьём чаю.

— Давайте. Вот от чего никогда не отказываюсь, так это от чая.

Яна накрыла на стол, разрежала кекс, налила чай в небольшие фарфоровые чашечки.

— Наверное, трудно привыкать к новой жизни? Ведь там, у вас, всё иначе, не как здесь? Рассказывайте.

— Трудно? Не знаю. Нет, не трудно. Может быть, беспокойно. Но это только первое время. Яна Викторовна, Вам приходилось когда-нибудь плыть на байдарке по порожистой реке?

— Не приходилось. И не только по порожистой, а вообще ни по какой.

— Так вот. Как-то мы спускались по бурной реке. Вначале были небольшие гребешки, редкие, не очень серьёзные камни. Но по маршрутной карте мы знали, что впереди метров через триста-четыреста будет большой порог. И вскоре мы его услышали, начали немного волноваться. Шум приближался, или мы приближались к шуму. Уже появились светящиеся на солнце буруны, показались крупные камни, которые мы спокойно обходили. И вот впереди, метров в пятнадцати-двадцати, заклокотали водяные холмы. И мы сразу успокоились. Мы знали, что делать. Точными движениями вёсел мы направили лодку и вошли в так

называемый язык и прошли порог. Так и там. Волнение было только вначале... Ну, мне пора. Что передать Валерию?

— Вы так быстро уходите. Что передать? Не знаю... Передай-те большущий привет.

— А ещё?

— Было бы хорошо, если бы он приехал.

— Приезжайте Вы.

— Мне труднее. Я стала какая-то малоподвижная. И папу одного оставлять боязно. Ему без меня тяжело.

— Ну, я пойду. Спасибо!

— За что же? Это Вам большое спасибо! — они вышли в коридор, затем на лестничную площадку.

— До свидания.

— Счастливо доехать.

— Спасибо!

Митрич спустился по лестнице, вышел на улицу. Шёл снег. «О, господи, снег!» Первый, как всегда неожиданный, как и положено первому снегу. Горели фонари, рекламы. Всё было как обычно. Только падал снег. Он таял, не долетая до асфальта.

* * *

«Я не знаю, как начать письмо. Этими ли словами или другими, более подобающими. Подобающими чему? А может быть, вообще не начинать? На днях приходил Дмитрий. В его рассказе о вашем житье-бытье я как будто увидела тебя, твои полные грусти глаза. Кротость и сила, тоска и любовь, горечь и радость, нежность и беспокойство — всё выражалось в одном твоём взгляде. Теперь тебя рядом нет, ты далеко. Ушёл, не сказав ничего. Ты считал, что так надо — сразу, а не постепенно. Так лучше и так легче. А может быть, труднее? Каждый вечер я смотрю на дверь, и мне кажется, вот-вот застрекочут два звонка — один резкий, отрывистый, а другой просящий, длинный. Я открою дверь, не спрашивая, кто там, зная, что так звонишь только ты.

— Это ты?

— Не знаю, кажется, я. А ты ждала кого-нибудь другого? Здравствуй!

— Здравствуй! Ты каждый раз другой, новый.

Ты говорил, что если бы был художником, то нарисовал бы меня в интерьере с открытой дверью. „Здравствуй!“ ты говорил шёпотом, еле шевеля губами, словно боясь разбудить кого-то или нарушить покой нашей квартиры. Приносил бутылку вина и шоколад. Ты знал, что я люблю „Мокко“, и приносил только его. Ставил бутылку на столик и, ничего не говоря, садился на диван. В тот вечер ты принёс свечи. Я даже вскрикнула от радости. Ты как-то умел в таких мелочах предугадывать мои желания. Я погасила свет и зажгла две свечи. Они замелькали беспокойными синими огоньками, потом разгорелись. На стене запрыгали тени. Твоё лицо казалось утомлённым и бледным. Ты брал с полки какую-нибудь книгу, чаще всего Андерсена, и читал, а может быть, только перелистывал. На твоём лице появлялась улыбка, стиравшая с него усталость и задумчивость. Я стояла у батареи и грелась. Мне всегда было холодно. Ты поднимал голову от книги и с той же улыбкой, не успевшей сойти с твоего лица, вполне серьёзно спрашивал: „Ян! Неужели так можно жить?“ Я не знала, про что ты говоришь — про сказку из книги или про меня. Не дождавшись ответа, ты читал дальше. Да он и не был нужен тебе. Ты сам прекрасно всё знал. Я приносила рюмки, ты открывал бутылку и разливал вино. Ты выпивал залпом, словно утоляя жажду.

— Ну, что нового?

— Ничего. Сегодня, как и вчера. А завтра, как сегодня... Значит, как и вчера. Так всё время, ты же знаешь.

— Почему так?

— Не знаю. Но я и не хочу ничего другого.

Ты наливал ещё, и мы пили. Пили без слов. Ты молча целовал меня. В этом поцелуе была какая-то особая чистота. Я закрывала глаза. Я знала, что ты здесь, рядом, и мне хорошо».

* * *

«Я опять здесь, и безумно устал, и не хочу подниматься, и Валерий меня ни о чём в этот раз не просил.

Делает вид, что ему всё равно, а сам подписывает командировку. Так зачем я иду? Тем более что за день вымотался. Сесть бы сейчас и вытянуть ноги. Или мне самому хочется найти концы разорванной нити, чтобы их связать? А может быть, концы будут слишком короткими и связать их уже не удастся? Почему Валера ни разу не съездит сам? Вот и второй этаж. Звонок какой-то пронзительный, истеричный, звонит, будто ругается спросонья. Никого».

Раздумывая, что предпринять, Митрич сел на подоконник. По оцинкованному железу крыши, упирающейся в стену под широким окном, ходят голуби — раньше их не было. Занавески на окнах квартиры Яны другие. На звонок никто так и не вышел. Он, наверное, смог бы так просидеть, подрёмывая, на подоконнике очень долго.

«Я научился ждать. Ждать людей, ждать работы, ждать хорошей погоды, ждать машин на дорогах. Ждать я могу. Но не люблю залов ожидания с грязными полами, покрытыми керамической плиткой, с буфетами с непотребными запахами пищи, непонятно когда приготовленной, со стоячим спёртым воздухом, с бегающими и спящими собаками, с криком и руганью пьяного мужика, который упирается и не хочет идти с милиционером. А тот по правилам борьбы заломил ему руку за спину и жмёт её до крика, до боли. Котомки, сумки, рюкзаки, мешки, отсутствие билетов, очереди в кассы. Вот откуда-то прибежала большая рыжая собака, и увидевшая её чёрная кошка оцетинилась, но не убежала, а приготовилась к бою в ожидании нападения. Собака лениво посмотрела на неё и посеменила к буфету, просящими глазами уставившись на девочку, жующую бутерброд. В залах ожидания возникает какое-то беспокойство. Ждёшь поезда, на котором должен уехать, — не отменят ли. Ждёшь поезда, на котором кто-то должен к тебе приехать, — не опаздывает ли. И название странное — „Зал ожидания“. Разве для ожидания нужен зал? Ждёт душа, ей не нужно замкнутого пространства. А тут зал! Но ведь вся жизнь — это ожидание. Ждёшь трамвай, автобус на остановках. Ждёшь зарплату. Ждёшь писем —

опять в почтовом ящике только газеты. Ждѣшь какого-то изменения в жизни, не зная, что оно принесѣт.

Почему он уехал? Почему они расстались? Почему вообще расстаются люди, которые не должны расставаться? Неужели всему виной обстоятельства, которые нельзя изменить?»

— Дима? — голос раздался так неожиданно, что Митрич поднял голову, едва открыв глаза.

— Виктор Аркадьевич! Здравствуйте!

— Здравствуйте, Дима! Давно ждѣте?

— Всю жизнь! Да нет, шучу. Минут пятнадцать—двадцать. Случайно задремал.

— Давненько Вас не видел. Возмужали и неплохо смотрите.

— Спасибо за добрые слова. Только не возмужал, а постарел. Ведь уже тридцать пять.

— Тридцать пять! Где мои тридцать пять?! Рассказывайте, где были, что делали. Откуда сейчас? Надолго ли?

— Приехал по служебным делам. Всѣ оттуда же, из Красноярского края.

— Не женились ли?

— Ну что Вы, Виктор Аркадьевич! Пока и в мыслях нет.

— Не зарекайтесь, Дима. Знаете, от сумы и от жены... Как там у вас? Интересно?

— Очень! И люди какие! Я хожу в стариках. Ребята все молодые, лет по двадцать пять. Напористые, одержимые.

— Чем?

— Не знаю. Всем. Виктор Аркадьевич, когда Яна приходит с работы?

— Дима, она уже здесь не живѣт. Что же мы стоим на лестнице? — Виктор Аркадьевич вынул ключи из портфеля и стал открывать дверь. — Яна переехала... к мужу. Она вышла замуж. Уже около года.

— Понятно. К мужу, так к мужу.

— Дима, может, адрес возьмѣте? Они живут недалеко отсюда.

— Спасибо. Возьму.

Виктор Аркадьевич работал главным инженером на одном из небольших заводов, который всегда выполнял и перевыполнял планы, его продукция не залѣживалась на складе. Естествен-

но, вся нагрузка ложилась на плечи главного инженера. Он был той пружиной, тем двигателем на заводе, от которого исходила энергия, касалось ли это качества выпускаемой продукции, перспективного развития производства — основных забот главного инженера, или обеспечения пенсионеров, работавших на заводе, бесплатными путёвками в пансионаты и санатории, хотя эта забота и не входила в его обязанности. И, естественно, шофёр Виталий привозил его домой обессиленным, каким-то помятым. Это было видно и сейчас, хотя улыбка не сходила с его лица, и он не показывал вида, что устал. Но это была улыбка утомлённого человека. К тому же внезапная смерть жены надолго выбила его из привычной колеи.

...Да, она жила рядом. Митрича подхватил стремительный людской поток. Звонки и скрежет трамваев, запах отработанного бензина, разноцветье реклам — все атрибуты большого города. Митрич куда-то шёл, куда-то поворачивал, на ходу читая названия улиц. «Вот эта улица, вот этот дом...», и чистая лестница, гордая от сознания своей чистоты. Митрич почувствовал себя неловко. Ему было неловко перед лестницей за грубые ботинки, перед дверью ему было неловко за свой старый выцветший плащ, перед Яной, если она дома, ему будет неудобно за изнурённый вид. На первый звонок отозвалась тишина, на второй — шаги. Вот и она — в проёме открывающейся двери.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответила она и, немного помолчав, спросила, — Вы к Андрею Александровичу? Его пока нет дома, но скоро должен прийти.

— Он мне не нужен. Я к Вам, Яна.

— Ко мне? — она немного растерялась. — Ой! Дима! Я вас сразу не узнала, извините. Проходите, проходите, что же Вы стоите? — она сказала это, как и в прошлый раз.

— Спасибо! Валерий просил передать Вам привет.

— Спасибо! Он ещё не забыл меня?

Они вошли в квартиру, дохнувшую благополучием.

— Расскажите, как Вы там, как Валерий?

— Не знаю, с чего начать. Жив, здоров, чего и Вам желает.

Кажется, так надо говорить.

Она улыбнулась.

— Не знаю. Но это самое главное. Не женился ли?

— Нет, не женился.

— Извините, Дима. Я сейчас приготовлю чай. Я ведь помню, Вы чаёвник. Может быть, кофе?

— Нет, спасибо. Будем пить чай.

За чаем Яна стала расспрашивать о работе. Валерий как-то незаметно отошёл на второй план. Она говорила о том, что сейчас происходит интересного в городе, куда нужно сходить, что посмотреть, говорила так, как нужно говорить. Было буднично и скучно. Говорили о погоде, о том, что в Ленинграде сейчас тепло, а вот в Сибири, наверное, уже холодно. Дмитрий смотрел на рубиновую вазу с тонкой высокой шейкой, такую изысканную, особенно на скатерти цвета тёмной охры, на фарфорового пса на журнальном столике, на чёткие линии дивана, кресел.

— Мне уже пора. Что передать Валерию?

— Подождите, Дима. Куда же Вы торопитесь? Сейчас придёт муж, вместе поужинаем.

— Спасибо, спасибо! Но времени как всегда не хватает. Я пойду. Валере передам, что Вы здоровы, счастливы, что у Вас... Что ещё передать?

— Что ещё? Право, не знаю. Да, здорова и... и счастлива. Так, кажется, Вы сказали? Передайте, что буду рада его видеть — ведь мы не виделись уже сто лет. А письма? В письмах всего не расскажешь. Да и давно я ему не писала. Передайте привет. Может быть, останетесь? Андрей Александрович вот-вот должен придти. Он будет очень рад с Вами познакомиться.

— Нет, не могу. Надо идти. До свидания!

— Ну что ж. До свидания!

«Я быстро сбежал по лестнице. В голове звучал её голос, чуть виноватый и как бы оправдывающийся, а в общем прохладный. „Так нужно было. Такова жизнь.“ Да, жизнь такова... Было время, когда привет от Валерия вызывал восторг, неподдельную грусть и надежды. Было... Всё это было. Как сегодня, которого завтра уже не будет. Как оторванный лист календаря. Может быть, листки лучше не отрывать? — пусть остаются. Пусть лучше переворачиваются, но остаются.

...И вот уже поезд везёт меня обратно. Мне кажется, что что-то случилось. Хотя ничего особенного. Я просто передал привет. Вагоны гудят, изредка постукивая

буферами. В купе я один и, слава богу, никто мне не нужен. Бывают минуты, когда никто не нужен. Дважды начинался дождь, и дважды проглядывало солнце. Не холодно, не жарко. Обыкновенная осень. В Ленинграде почти на всех афишах одна надпись: „Открытие сезона“. Кто-то будет выходить на сцену и три часа жить не своей жизнью. А может быть, своей? Я еду...»

* * *

Яна вышла из машины. «Уже без четверти шесть! Неужели опоздала?» Но поезда не было, объявили, что отправление задерживается на пятьдесят минут. Она прошла в зал ожидания и села в пластмассовое кресло. Напротив в таком же кресле сидела молодая женщина в зелёном платке. На руках у неё спал ребёнок. Рядом лежали туго набитые баулы, стояли чемоданы; соседи по креслам аппетитно жевали бутерброды. Казалось, они давно живут на вокзале, сидят и спят в этих жёстких креслах рядом с чемоданами, тюками. Их не трогает ни вокзальная суета, ни голос из репродуктора, объявляющий о прибытии и отправлении поездов. На полу, на расстеленной шинели, подложив под голову котомку, в грязных сапогах и в мятом засаленном пиджаке спит бородатый мужичок. Шапка съехала с головы и закрыла верхнюю часть лица. Виднелся только кончик красного носа и открытый рот, откуда, как из трубы, раздавался могучий храп. Репродуктор затрещал, откашлялся и заговорил мягким голосом: «Граждане пассажиры! На второй платформе, правая сторона, производится посадка на поезд, следующий до станции „Красноярск“. Время отправления — семнадцать часов пятьдесят шесть минут. Повторяю...» Люди заторопились к выходу на платформу, но многие так и остались сидеть в креслах и лежать на полу на подложенных под головы мешках и котомках. Спавший мужичок быстро вскочил: «Куда поезд?» — «В Красноярск», — ответила сидящая пожилая женщина, и он снова лёг на шинель и заснул.

Яна нашла свой вагон и, предъявив проводнику билет, спросила: «Когда будем в Красноярске?» — «Через четверо суток». «Четверо суток... Ой как долго!» Она открыла дверь ещё пустого купе, положила сумку в багажник и стала смотреть в окно на пёструю толпу провожающих, отъезжающих, прощающихся.

«Я сижу в вагоне. До отхода поезда остаётся пятнадцать минут. Вагон пока полупустой. По платформе бегают грузчики с тележками. Из окна видны большие буквы, сложенные в слово „ЛЕНИНГРАД“. Начало августа. На вагонах других поездов таблички: „Ленинград – Севастополь“, „Ленинград – Караганда“, ... Моя станция назначения – Красноярск. Это написано на моём вагоне. Это написано на моём билете. Это написано в моём сознании. Это написано... Но пока я вижу только „ЛЕНИНГРАД“. Это видишь всегда при подъезде к городу. А я уезжаю, уезжаю искать себя, уезжаю искать тебя. У тебя не хватило веры на двоих. И я должна была решить сама. И решила. Пока поезд стоит, до отправления остаются минуты. Минуты ожидания. Вся жизнь – это ожидание. Но ведь вся жизнь – это и надежда. ОЖИДАНИЕ и НАДЕЖДА. Два слова, связанные между собой, но не имеющие общего корня. В них три одинаковые согласные – Н, Д, Ж, придающие им общность звучания. Но не только эти буквы объединяют их. Их единение в душевном настрое – ждать и надеяться, хоть надежды бывают сумрачные, неясные. Надеюсь, что я еду туда, куда надо. Надеюсь, что ты ждёшь меня, и что твои ожидания не будут напрасными. Теперь я не сомневаюсь, что поступаю правильно. Откуда взялась эта уверенность – не знаю. Ожидание чего-то другого, но обязательно хорошего. Всё, что было вчера, что было час назад, ощущается как потерянный мир. Мне кажется, что, войдя в вагон, я перешагнула пропасть. И главное – нельзя отступить. Некуда. Поезд тронулся. Уже не видно больших букв. Они исчезли, как и всё, что связано с ними. За окном дорожные столбы, отсчитывающие километры, большие и маленькие станции, встречные поезда, едущие на запад. Гудки тепловозов, огни семафоров, уходящие в темноту ночи отсвечивающие бликами рельсы. Звёзды!словно художник оставляет точки звёзд на чёрном холсте неба. Вспомнились чьи-то строчки:

Когда на глади полотна
Художник ночь изображает,

Он луч хотя бы оставляет,
Чтоб эта ночь была видна.

Колёса стучат на стыках, перескакивают с одного
пути на другой. Я уже еду».

* * *

И всё-таки он ждал её. Пиная брошенные окурки, медленно ходил по платформе, изредка всматриваясь вдаль, откуда должен появиться поезд. Огни светофоров, железнодорожных постов, отрывистые гудки. Поезда приходили, уходили, а он ждал её, ждал и боялся. Неделю назад принесли телеграмму: «Яна уехала Ленинграда. Может быть тебе. Митрич». «Ко мне? Не может быть...» Он не знал, что ему делать, и позвонил Митричу. Но ничего конкретного — «Может быть, к тебе». Может быть, а может и не быть. На всякий случай Валерий заполнил холодильник, купил цветы, поставил их в вазу на стол. Но потом чего-то испугался и переставил их на приёмник — там они не бросались в глаза. В комнате было просторно, ничего лишнего.

Вдалеке из-за леса вынырнул поезд, оглушая всё вокруг мощным грудным голосом. Миновав светофор, скрежеща тормозами и колёсами, последний раз тяжело вздохнул и остановился. Из вагонов стали выходить пассажиры. Валерий не знал номера её вагона, и вообще не знал, едет ли она. Он стоял у входа в здание станции, мимо которого никто из приезжающих не должен пройти, и, крутя головой, смотрел то направо, то налево. Валерий увидел Яну, когда она спускалась по ступенькам остановившегося почти напротив вагона. Она была в сером пальто, синих брюках и белой шапочке, в руках — дорожная сумка. Немного постояв, она направилась к зданию вокзала.

— Ян, я здесь, — крикнул Валерий.

Она остановилась у самой двери, растерянно посмотрела вокруг и, найдя его глазами, улыбнулась.

— Вот я и приехала. Здравствуй! — и она поцеловала его в щёку. — Ты совсем не изменился.

— Совсем-совсем?

— Совсем. А как ты узнал, что я приеду?

— Я не узнал. Я думал, что ты приедешь.

— Почему?

— Я получил телеграмму.

— От кого? От папы?

— Нет.

— От кого же? Ведь никто не знал, куда я еду. От кого же?

— От Митрича, — Валерий показал Яне телеграмму. — Он заходил к Виктору Аркадьевичу и к вам. Ленинградский поезд я встречаю уже третий день. Дай сумку.

— Она лёгкая.

— Всё-таки дай. Возьмём машину и ко мне.

— Я пока хочу в гостиницу. И пойдём пешком, ладно?

— Но это далеко.

— Ничего. Я в поезде насиделась и належалась.

— А почему в гостиницу?

— Я же сказала «пока». Как же так? Я же Митричу ничего не говорила.

— Он догадливый.

Они вышли на привокзальную площадь и пошли через старый заброшенный сад. Сибирское лето доживало свои последние дни. В некоторых местах газоны полысели. Листья, беспорядочно кружась, также беспорядочно падали на прохожих. Порыжевшая трава прижималась к земле. Птицы, не находя тепла и покоя, перелетали с ветки на ветку. Они что-то ещё не успели доделать и волновались, задерживаясь с отлётом.

Выйдя из сада, Валерий с Яной пересекли улицу и, пройдя несколько перекрёстков, завернули к гостинице. Свободных мест оказалось более чем достаточно.

— Вот здесь я и остановлюсь. Завтра тебе позвоню.

— Телефон знаешь?

— Конечно.

— Может, возьмёшь ключи?

— Нет. Пока, — и Яна пошла на второй этаж, в свой номер.

...Прошёл месяц, но не было дня, чтобы они не виделись. Яна не вспоминала прошлое. Валерий удивлялся её спокойствию и не мог понять, что же произошло там, в Ленинграде. Он узнал, что она неудачно вышла замуж, как она говорила «просто так» или «от нечего делать».

Пришла необыкновенно снежная зима. Казалось, что не было ни весны, ни лета, ни осени. Прямо из сугробов росли со-

сны, упирающиеся вершинами крон в сумрачное небо, подкрашенное жёлто-бело-оранжевыми мазками облаков. На их роскошных ветвях резвились галки, а иногда серенькая белочка упругим мячиком прыгала с ветки на ветку, с дерева на дерево, под которыми чёрная речка ползущей змеей разрезала белизну снега.

Счастливый Валерий возвращался домой. Яна опять вошла в его жизнь. Он быстро, почти бегом, поднялся по лестнице. В прихожей было темно. Из комнаты доносились звуки радиоприёмника. «Неужели забыл выключить?» Валерий открыл дверь в комнату и увидел Яну. Она как будто спала, положив голову на вытянутые на столе руки. Оторопев, стоял он заворожённый, боясь что-нибудь нарушить в этом покое.

* * *

...На бланке телеграммы, которую она подала на следующее утро, было четыре слова:

«Я не приеду. Яна».

Глаза

Толпа вдавила меня в эскалатор, и, только оказавшись на его ступеньках, я сделал глубокий вдох. Лестница подняла в переход с одной станции на другую. Движущийся поток, словно машина, управляемая женщиной в красном берете, вновь подхватил меня и понёс. Я двигался только вперёд, подчиняясь общему течению, боясь нарушить его ритм. Единственное, что было возможно, это повернуть голову.

...Она стояла в стареньком коричневом пальто, в тёплых бежевых чулках и стоптанных туфлях. Из-под серого платка выбивались редкие седые волосы. Круглые старенькие очки, прикрывая серо-голубые глаза, отгораживали её от бурлящего, суемящегося в самом себе и не находящего выхода мира. Рука её была полупротянута. Она стыдилась этого жеста, и, видимо, поэтому ладонь была едва раскрыта. И вдруг... То ли сверкнули стёкла её очков от поворота головы, то ли я повернул голову, но мои глаза встретились с её глазами. Они не просили. Они говорили. Они говорили про восемьдесят или около этого лет, про свою жизнь от рождения до этой паперти, и в них были только два слитых в один взгляд вопроса: «Почему?» и «За что?».

...Между приходом электрички в Волховстрой и отправлением другой электрички в Лодейное Поле у меня было полтора часа. Я пошёл в зал ожидания, вынул из рюкзака термос, пакет с бутербродами и устроился за столиком возле буфета. В креслах из подкрашенной слоистой фанеры сидели такие же, как я, ожидающие то ли поезда, то ли автобуса.

Словно почуяв запах съестного, она появилась почти сразу. Чёрная с грязно-белыми пятнами, с повисшими ушами, она пробежала по залу, потом вернулась и встала передо мной. Она не виляла заискивающе хвостом, не просила, не скулила. У неё даже не текли слюни. Она смотрела на меня, немного наклонив голову с красивыми карими глазами. Она смотрела не на бутерброд колбасой. Она смотрела на меня, словно изучая. Её глаза, наполненные смыслом, выражали не отчаяние, нет. Они выра-

жали смирение и надежду. Да, именно надежду. И её надежда оправдалась. Я дал ей четверть бутерброда, сосед по столику дал ей кусочек сосиски. Она всё съела, немножко посидела, облизываясь, и убежала. Потом прибежала снова. Мы дали ей ещё поесть. Её надежда оправдалась. И это отличало глаза собаки от глаз старушки, в которых надежды не было.

Хоть немного ещё...

Уже несколько дней слова у него не складывались в предложения, а если и складывались, то фразы получались какими-то пустыми, не наполненными ни жизнью, ни смыслом. И застрял он на описании признания в любви. Вадиму захотелось сменить обстановку, уехать из города, из четырёх стен своего кабинета, в котором рукописи, газеты, журналы, рубашки валялись на кресле, на стульях, даже на полу. Здесь нельзя было не только сосредоточиться на описании любовных сцен, но и думать о любви было невозможно.

Начинался сентябрь, и Вадим решил поехать в Дом творчества; места там, наверняка, будут, ведь лето, а с ним и купальный сезон, уже прошли. Сказано — сделано. Он созвонился с Марией Андреевной, директрисой Дома, спросил её, свободна ли комната, в которой он любил останавливаться, и, убедившись, что она не занята и можно приехать, позвонил сыну. Павлик сказал, что сможет его отвезти через пару дней. Вадима это вполне устраивало. «Будут сборы не долги», — пропел он. С хорошим настроением оттого, что ему в голову пришла прекрасная мысль, уехать из города, которую, как оказалось, будет несложно реализовать, лег спать.

Сразу по приезду Вадим занял свою комнату. Уже несколько лет он приезжал и жил именно в ней, и поэтому считал её своей. Ему нравилось, что широкое окно выходило на залив. Казалось, что рама окна — это рама большой картины, но отличие от картины заключалось в том, что пейзаж за окном всё время менялся. Небо то плыло ровными рядами облаков, то останавливалось, набухая тёмными тучами, то искрилось голубишной, прорезанной солнечными лучами, то покоилось в тревожном ожидании.

Вадим вспомнил — в прошлом году, когда он приехал, чтобы закончить небольшую повесть, три или четыре дня подряд, не переставая, шёл дождь, и прилетевший ураган свалил несколько деревьев. Гулять было опасно, но и не работалось. Тогда он долго смотрел в окно и наблюдал за двумя крупными чайками. В отличие от других, которые спрятались от непогоды, они,

то вспарывая тёмные тучи, резко взмывали вверх, то вдруг на мгновение зависали, плавно опускались и уходили под воду и, вынырнув, снова устремлялись к тучам. И в этой игре и борьбе с ветром, с дождём Вадим пытался разгадать характер птиц.

В распорядке дня Дома творчества время завтрака было растянуто от восьми до одиннадцати. Директор считала — приезжают сюда люди творческие, со своими привычками, кто-то работает допоздна, а кто-то даже ночь напролёт, и засыпает, если и засыпает, только под утро. Вадим же писал обычно с утра и перед ужином, поэтому его утро совпадало с природным. Вставал он в полвосьмого, делал получасовую зарядку, лёгкую пробежку и завтракал около девяти. Так начинался и этот день. В девять часов он уже был в столовой. К его удивлению, не успел разобрататься, приятно или нет, за его столом сидела приехавшая вчера незнакомка. Вадим вспомнил, что накануне, выходя на свою послеобеденную прогулку, он увидел подъехавший к Дому творчества ВАЗ, кажется, это была «девятка», и вышедших из неё даму и мужчину, который, видимо, и привёз её сюда. На голове у неё была голубая пуховая шапочка, из-под которой игриво и как-то смущённо вылезала прядь чёрных волос с редкими искорками седины. Синяя спортивная куртка и светло-коричневые брюки плотно облегли фигуру. Больше Вадим ничего не успел заметить, так как она, разговаривая со своим спутником, стояла к нему спиной.

— Здравствуйте! — поздоровался Вадим, подойдя к столику, и сел на своё место, при этом подумал: «Ну, сидит, так сидит».

— Здравствуйте! — ответила она, чуть улыбнувшись. Но, как Вадиму показалось, улыбнулась она не губами, а глазами, немного прищурившись. — Извините, за этим столиком есть свободное место?

— Не волнуйтесь. Здесь три свободных места. Можете выбирать любое или занять все три. Меня зовут Вадимом.

Вчера Вадим только вскользь её увидел. Сейчас он рассматривал её с любопытством. Большие карие глаза, крупные черты лица, в котором не было жёстких линий и резких переходов, представляли типаж, вызывающий интерес у художников. Возраст женщин всегда было для него загадкой. Тем более, что современная косметика делает чудеса. «Наверное, ей около пятидесяти», — подумал Вадим.

— Спасибо за разрешение. Можно его считать приглашением занимать место за этим столиком всё время, пока я здесь буду? — спросила она, не назвав своего имени.

— Конечно, можно.

— Вы писатель Берестов?

— Фамилию угадали. Но почему Вы подумали, что я писатель?

— Я не подумала. Я знаю.

— Откуда? Разве на мне написано? Ах да, это же Дом творчества писателей. И здесь все писатели.

— Нет, уважаемый Вадим. В магазине, на Литейном, я видела Вашу книжку с портретом.

— А книжку купили?

— Нет. И, если честно, даже не помню её названия.

— С названием-то бог с ним. А книжку надо было купить, чтобы поддержать торговлю.

— И литературу?

— Да, и литературу. Точнее, писателей.

— А Вы мне расскажите её содержание. О чём она?

— Рассказать-то я, конечно, смогу, тем более только содержание. Но всё равно это будет очень долго.

— Почему же?

— Потому что любая книжка — это часть жизни писателя. Так что рассказывать надо мою жизнь. А это, повторяю, долго и не всегда интересно.

— Но у нас есть время. Ну, а интересно или нет — зависит от рассказчика.

— Я подумаю над Вашим предложением. Кстати, а как Вас зовут?

— А я разве не сказала? Извините. Меня зовут Светлана, — она встала из-за стола, чтобы отнести посуду.

— Не беспокойтесь, я уберу.

На следующее утро Вадим пришёл в столовую раньше Светланы. Трое молодых людей с подругами уже заканчивали завтрак. С ними он познакомился в первые дни после приезда. При встрече Вадим приветствовал их кивком головы, получая в ответ такие же учтивые кивки. Разговора, кроме общих фраз, не получалось. Да и о чём разговаривать? Разве что пожаловаться на плохую погоду. Лица двоих он вспомнил, так как где-то их

видел. Возможно, у кого-нибудь на юбилее или в бывшем Союзе писателей. Господи, как много теперь стало уже бывшим.

Светлана немного задержалась. Вадим ожидал, глядя на дверной проём. Дверь открылась, и она быстро вошла в столовую.

— Здравствуйте, Вадим, — сказала она, подсаживаясь к столу. — Мы последние?

— Доброе утро, Светлана. Да, молодёжь уже позавтракала.

— Вадим, налейте мне, пожалуйста, кофе, — попросила Светлана.

— Кофе-то я налью, а антрекот, наверное, уже совсем холодный. Светлана, я приглашаю Вас после завтрака прогуляться, — предложил Вадим, решив в случае её согласия нарушить свой режим.

— Хорошо. Вы идите. Через пятнадцать минут я буду готова.

— Я подожду Вас у выхода.

— Идёт.

В лёгкой куртке Вадим спустился в холл. Светланы ещё не было. Он вышел на крыльцо. Погода располагала к гулянию и неторопливому разговору. Лёгкий ветерок лениво, как-то нехотя, заигрывал с пожелтевшими листьями берёзы. Небо, словно раздумывая над своим нарядом, было ещё каким-то неопределённым, с несколькими разбросанными разноцветными мазками. Его голубой цвет уже перестал быть голубым, а синий ещё не был синим. Нечто сине-голубое.

— Вадим! Я уже здесь. Куда пойдём?

— Прямо по дорожке, а там посмотрим.

Они вышли за территорию Дома творчества и пошли по направлению к центру посёлка...

* * *

— Как отдыхали после нашей прогулки и после обеда? — спросил Вадим, придя в столовую и садясь за стол. Светлана уже заканчивала ужин.

— Немножко полежала. Потом пошла гулять.

— Гуляли? Одна? Где?

— Где гуляла? В прямом смысле слова заблудилась в трёх соснах.

— Так Вы были в лесу? И, наверное, далеко зашли?

— Зашла-то я недалеко, но потеряла дорожку, по которой шла в лес, вот и заблудилась. Но зато нашла гриб. Не поверите, настоящий белый гриб.

— Ни за что не поверю.

— А зря. Это правда. Могу показать. Он небольшой, спрятался под листочком, поэтому его раньше и не нашли.

— И не гнилой?

— Ни червоточинки.

— Так Вы отнесите его на кухню.

— Ещё чего! Я его поставлю в вазу и буду всем показывать, ведь иначе никто не поверит. Вы же не поверили. Вадим, Вы утром говорили, что хотели меня о чём-то попросить, я не ослышалась?

— Нет, не ослышались.

— Тогда попросите.

— Спасибо за разрешение.

— Да, ладно Вам. Говорите, в чём дело.

— Хорошо. Дело в том, что завтра ко мне приезжают гости. Мы давно хотели встретиться, но все как-то не получалось, я в Питере, а они — в Москве. Узнав, что я здесь, решили прикатить и прислали телеграмму.

— На деревню дедушке?

— Не совсем так, но похоже. Адрес они знали.

— А что от меня требуется?

— Требований, естественно, никаких. Я заказал столик в ресторане на четырёх человек, и, если у Вас на завтра не намечено ничего более интересного, я приглашаю провести этот вечер с нами. Вот и всё.

— Спасибо. Я подумаю.

— Долго будете думать?

— Минут двадцать. До конца Вашего ужина. Что я должна буду делать во время вашего разговора? Играть роль Вашей дамы?

— Вам это трудно?

— Трудно? Не трудно? Не знаю, но интересно. А может быть, лучше просто знакомой?

— Нет, лучше дамы. Мне кажется, что у Вас это получится.

— Вы уверены?

— Нет, конечно, нет. Я же сказал: «Мне кажется». — Вадим посмотрел на Светлану улыбающимся и просящим взглядом и